

В веренице событий и обрывочных образах улицы мы встречаем их изредка: белая трость, темные стекла очков, голова неестественно поднята. Это слепые.

Помню дождь — крупный, осенний. Слепая женщина сбилась с асфальта в густую траву, воткнулась в торце какого-то здания, стояла и робко вскрикивала: «Люди добрые!» Ее вывели, задали направление. У слепой громко хлюпали боты. Дождь-невидимка хлестал ей лицо. Придя домой, я надел шарф на глаза, стал ходить, представлять... Через сорок минут меня едва не стошнило. «Слепота — это просто ужасно», — скажет всякий, кто задумает влезть в эту шкуру. А что скажут они!

ЮЛЯ

Юле — шестнадцать. Ей так нравится говорить о любви. И, поверьте, она никогда не была бы обделена вниманием сверстников, если бы шестнадцать лет назад ей не «выжгли» глаза в барокамере. Это случается время от времени. Под колпак недоношенному младенцу поступает слишком большая доза кислорода. Кислород убивает глазной нерв. И весь мир предстает малышу в новом качестве.

Иногда Юля часто мигает зрачками. Юля смотрит на звук, на тебя, сквозь тебя. Мать ее работает на заводе. Отец когда-то ходил в море, был помощником капитана, но потом стал спиваться, посещал вытрезвитель, работал мусорщиком, и, наверное, скоро состоится развод.

«Я не чувствую себя полноценной», — Юля первая начинает разговор. Говорит, что когда-то в ее жизни все было не так: «Было проще и лучше. Я любила в куклы играть. У меня много кукол. Мы ходили с папой в лес, на Ольгин пруд — собирать грибы. Он искал, а я срезала их ножником. Почему зрячие ничего не знают про нас?»

Непонятно, к чему она клонит. Она сама не знает, к чему она клонит. Это просто какой-то туман. Но рассказывается в горле комоч. Слепая девочка продолжает:

«Как-то складывается, что со зрячими у нас общения нет. Мы, слепые, друг к другу притянуты, и из круга не вырваться. Одна девочка, слабовидящая, мне в школе сказала недавно: «Вас, слепых, надо в дом хроников отправлять». А я даже рассориться с ней не могу, потому что слабовидящие приглядывают за нами, помогают. И родители наши им за это гостинцы несут... Или вот еще случай. Один раз шли мы с мамой, слышу вдруг разговор двух мужчин: «Разве могут слепые, скажи, развиваться нормально, стать такими, как мы вот с тобой?» А другой: «Тихо ты, не ори! Вон, не видишь — идет...»

Я ведь знаю, что жизнь — это праздник, а мы — вечное бремя. И, мне кажется, даже самые лучшие люди в глубине души нас не хотят и боятся. Даже мама стала не сдерживаться иногда...

— Юля, а что ты любишь в жизни? — Я много люблю. Ну, конфеты («батошники»). В хозяйственный магазин заходить и товар трогать. Посуду мыть люблю и обед разогревать, мне кажется, что тогда он бывает вкуснее. Маму люблю и отца когда-то очень любила. А еще письма получать, знакомство какое-нибудь интересное и с любимым человеком разговаривать долго-долго. Он слепой. Он таджик. Познакомились мы в больнице. Он сказал: «Зачем я тебе такой?»

— А в бога ты веришь? — Верю. Когда молюсь в церкви — на душе облегчение. А когда причаститься — будто гора с плеч.

тура вытатуирован знак вопроса. Почему?

Его мать говорит — колдовство. Отец любит повторять, что жизнь — это книга, и в любых обстоятельствах не она нас должна читать, а мы ее. Мать слегла, когда это случилось с Артуром, а отец стал теперь весь седой.

Очень важно понять, для чего теперь жить. Двадцативосьмилетний Артур решил, что отныне живет для родителей. Он стал зол, раздражителен, и общение с ним, по рассказам слепых, не подарок.

Артур и родители живут в дальнем поселке — там, где нет специализиро-

ванных комбинатов и где вряд ли в обозримом будущем удастся организовать надомный труд. Он считает, что судьба рано или поздно любого поставит на место. И его она тоже поставила. Ему нравятся песни Добрынина, и мечтает он о собаке. «Я сейчас, как в тюрьме — все один и один, когда мать и отец на работе. А так все будет рядом живой комок, подрастет — станем маму встречать-проводить на обед и с обеда».

И еще у Артура появился секрет, о котором готов он трубить на любом перекрестке. К нему медленно возвращается зрение. Он пациент знаменитой Шандуринной, врача из Института экспериментальной медицины, с именем которой многие слепые связывают свои последние надежды. Артур стал различать взмахи рук, блески луж и фигуры людей и от этого счастлив. Говорят, что к нему возвратится какой-то процент. Шандуринна делает чудеса, но она не излечивает от одиночества.



— Ты не думала когда-нибудь, что слепота — наказание?

— Может быть. Испытание за какие-то грехи родителей или предков. Но я буду держаться и верить. И тогда он простит.

Юля пишет письма. Трех женщинам, таким же слепым, как она. Юля учится музыке, ориентированию на местности и вдевать нитку в иголку. Она играет на аккордеоне в домах престарелых и мечтает вырваться из «слепого» мира, где все расплывающееся на десятилетия вперед, где за спецшколой-двенадцатилеткой следует спецпредприятие (фабрика или завод) или надомный труд, или безделье пополам с одиночеством и одни только близкие родственники да слепые вокруг. Иногда просто хочется оказаться на улице и идти без оглядки. Только улица бывает темна и враждебна, убежав, можно больше совсем не вернуться в эти милые и постылые четыре стены — к маме, куклам, старенькому магнитофону «Астра», голосам дикторов и радиопостановкам. И Юля одна не выходит из дома.

Ее возят по врачам, экстрасенсам. Она думает поступать на курсы милосердия при одном из музыкальных училищ. Два человека: слепая шестнадцатилетняя девочка и ее мать — стоят крепко обнявшись. А на них надвигается будущее...

Впрочем, мы сразу же взяли неверное направление. Через жалость и содержание проблемы слепых не измерить. В Ленинграде пять тысяч слепых. Очень мало — всего лишь одна десятая процента населения города. Очень много, если, скажем, представить себе пятитысячный митинг. Все слепые отчетливо делятся на две группы: слепорожденные и ослепшие в сознательном возрасте. И одной только встречей здесь никак не отделаться.

АРТУР

Он работал в милиции и ослеп на посту два года назад. Диагноз — открытая черепно-мозговая травма. С той поры и друзья и любимая девушка — все, решительно все, кроме матери и отца, от него отвернулись. Так вот просто поставили крест, позавидели, что жив. А ведь он в здравой памяти и уме и не обезображен. На руке у Ар-

турных комбинатов и где вряд ли в обозримом будущем удастся организовать надомный труд. Он считает, что судьба рано или поздно любого поставит на место. И его она тоже поставила. Ему нравятся песни Добрынина, и мечтает он о собаке. «Я сейчас, как в тюрьме — все один и один, когда мать и отец на работе. А так все будет рядом живой комок, подрастет — станем маму встречать-проводить на обед и с обеда».

И еще у Артура появился секрет, о котором готов он трубить на любом перекрестке. К нему медленно возвращается зрение. Он пациент знаменитой Шандуринной, врача из Института экспериментальной медицины, с именем которой многие слепые связывают свои последние надежды. Артур стал различать взмахи рук, блески луж и фигуры людей и от этого счастлив. Говорят, что к нему возвратится какой-то процент. Шандуринна делает чудеса, но она не излечивает от одиночества.

ТОЛИК

Он — «афганец». Ровесник Артура. Все лицо в синей сыпи от пороха. Дети дразнят его иногда и швыряют камнями. Но у Толика в жизни все теперь хорошо. Есть жена (уже после того) и здоровые дети. Есть гитара, афганцы-друзья и большая звуковая библиотека, хотя сам признается — до службы почти ничего не читал.

Убежден Толик в том, что если бы не ослеп на войне, то скорее всего сидел бы в тюрьме, потому как до армии подавал к этому самые прямые надежды.

«Меня ведь два раза в лицо. Сперва лишь царапнуло слегка — видишь, под глазом остался шрам, будто кто-то вначале пометил, а потом уже... А вообще я еще бы сходил в Афган. Когда спрашивают: «За кого ты там воевал?», отвечаю всегда: «За себя».

Толик думал пойти на сверхсрочную, хотел остаться в армии, так как «далеко не все же в ней сволочи». Только жизнь распорядилась иначе.

Толик жметесь и бьется, но все делать старается сам. Передвигается быстро, занимается плаванием, на соревнованиях берет первые места... «Мы такие же люди, как все», — повторяет он чаще

видеть своих же детей. Но жалуют нас вовсе не так. Мы такие же люди, как все, а они загоняют нас в угол. Нашу группу недавно спустили в метро на занятия по ориентированию. Подошла вдруг какая-то женщина, стала спрашивать, где родители, почему отпустили из дома. Ей ответили — что же теперь, без родителей совсем не ходить? Нет, говорит, не ходить. А не станет родителей, что же тогда? «А тогда, — отвечает она, — в интернат, у нас есть, слава богу, еще интернаты». И вот это не жалость, а плетка.

ЕСЛИ БЫ НАС НЕ БЫЛО...

С Юлей, Толиком и Артуром, с другими слепыми познакомились мы в Ленинградском реабилитационном центре инвалидов по зрению в переулке Джамбула. Центр обязан своим появлением афганской войне. Здесь уютно и тихо, потолки в витражах, здесь отличный преподавательский состав и вполне сносная техническая оснащённость. Здесь слепым очень нравятся. Здесь их водят в театры, бассейны и сауны. Они здесь отдыхают, оттаивают. Я пришел в этот центр сострадать и рассматривать «бедных слепых» под большим микроскопом, я вздыхал глубоко. Но чем дальше, тем больше «разочаровывался».

Это были нормальные люди. Абсолютно нормальные: слабые и сильные, мелочные и глубокие, грустные и веселые. Рассказывали анекдоты, на занятиях хлюпали друг друга тетрадиками по голове, говорили о женщинах, космосе и политике. Сострадания и дело оказывалось как-то не к месту. Я узнал много нового и неожиданного. Оказалось, библиотеки слепых стали первыми знакомить читателей с «запрещенной» литературой. Одному сорокалетнему инвалиду по зрению пришлось в голову поместить брачное объявление в «зрячей» газете. Пришло семьдесят откликов, и каких только не было в них претенденток на руку и сердце. И слепой теперь думает и выбирает.

Некоторые говорили о своем «шестом чувстве», говорили, что чувствуют «плотную массу», приближение предметов или предмета. У иных очень развита память слуха и осязания. Я познакомился с теми кто скрывал свою почти полную

слепоту, поступал в нормальные вузы, кто без чьей бы то ни было помощи научился отлично играть на нескольких музыкальных инструментах...

Отчего это так? Отчего у одних слепота будто вспышка и вечная рана и у них все обрушилось раз и навсегда, а другим внешне просто удается ее превозмочь? Почему те, кто долго работал с инвалидами по зрению, все твердят в один голос о том, что между слепыми и зрячими — полоса отчуждения?

Они бьются об урны и водосточные трубы, попадают под транспорт и электрический ток, но несчастны ли изна-

чально? Есть великий соблазн перед всяким, кто задался писать или просто подумал всерьез о слепых, погрешить против истины и удариться в жалость.

В начале века вышла повесть Владимира Короленко «Слепой музыкант». Ее сразу забыли. Стали даже считать чем-то вроде психологического исследования из жизни слепых, да и сам Короленко в своих комментариях этих исследований не отрицал. Отозвались на повесть в том числе и слепые. Слепой с детства приват-доцент Московского университета, а впоследствии профессор Александр Щербина, оставаясь в стороне художественные достоинства произведения, подверг критике именно психологические изыскания Короленко и, быть может, впервые в России сформулировал то заблуждение, тот огромный стереотип, что кроется в истоке печальной судьбы многих тех, кто родился без зрения. Он писал не о льготах, по-блажках и повсеместной заботе, а, представляете, совсем о другом и обратном. Он писал, что отсутствие зрительных образов — далеко не трагедия, что слепой абсолютно нормален, пригоден для этого мира. Он, конечно, вначале нуждается в помощи, но затем он способен органично вписаться в обычную жизнь: так же мыслить, смеяться, любить, учиться и нормально работать руками и головой. Он способен... Но зрячий собрат на способностях всех этих ставит крест, он в способности эти просто не может поверить. Зрячий мысленно закрывает глаза, видит мысленно венную ночь и какую-то бездну, ужасается и обрушивает весь свой во многом надуманный ужас на плечи слепого в виде невыносимой жалости и чрезмерной опеки.

Слепой ребенок, развиваясь нормально, без комплексов, вдруг однажды улавливает тихие ахи и вздохи на собственном счет. Начинает задумываться о себе и грустить, делать вывод о том, что другим он — обуза. В пессимизме сгорают энергия, воля, столь необходимые слепому для утверждения в зрячем мире.

Дальше — новый удар — одиночество, тщетность попыток составить себе круг друзей, так как сверстники — дети есть дети, чего с них возьмешь — избегают слепого. Ну а юность отрав-

лена мыслью о невозможности получить полноценные знания и тем более кем-то достойно устроиться в будущем. Заблудившее зрячее окружение широко открывает слепому один только путь — путь инвалида. Этот горький удел, буд-то яркий сигнал семафора, всегда светит слепому подростку, порождает отчаяние, страх за судьбу и обиду на зрячих. И притом он чувствует смутно — здесь кроется где-то большая ошибка, и он знает прекрасно, что может не только есть, пить, справлять надобности и совершать простейшие операции, а способен гораздо на большее. И слепой замыкается.

«Мы не видим света, но не видим и тьмы», — убеждал соотечественников современник Щербина слепой адвокат Бирилев, и вот в этом вся штука. Тьма тогда только страшная тьма, когда есть для сравнения свет, но рожденный слепым просто не знает ни света, ни тьмы, да и тот, кто ослеп в результате несчастного случая, тоже со временем забывает, как выглядит то и другое. Это просто другая система координат. У нее есть свои безусловные минуты, но, представьте себе, есть и плюсы. С одной стороны, принято считать, что 95 процентов информации человек получает от зрительных органов. Но, с другой стороны, еще греки считали, что слепота благоприятствует развитию умственных способностей, мозг, не засоренный массой случайной зрительной информации, продуктивно работает вглубь.

Разумеется, надо слепым помогать: обучать ориентированию, брайлевскому алфавиту, машинописи. (Здесь у СССР глубокий провал. Реабилитационных центров в стране очень мало, не везде есть спецшколы, очень многие люди лишены элементарных бытовых приспособлений). Только главное все же не в этом, а в обычном доверии зрячих. Сделать так, чтобы в жизни им было не душно, не холодно, а в самый раз — это трудно, но это возможно. Все зависит в конечном итоге от зрячего окружения. Толик в полном порядке сейчас потому, что афганцы-друзья все это время не переставали считать его за своего. А другому слепому, Петру Воробейникову, выпад из жизни не дали его зрячие одноклассники и родной двор. Кто-то увлекнется радиосвязью и находит друзей себе во всем мире. Только чаще, увы, происходит иначе.

Так живут всегда рядом и всегда в стороне за двойным ограждением. И слепые, и зрячие тяготеют не видеть друг друга.

Если б не было нас, то слепым бы никто не раскрыл слепоты, большинство из них было бы счастливым, а вернее, не было бы несчастно. Если б не было их, то и зрячим жилось бы немного комфортнее — было меньше бы поводов наблюдать чье-то горе. Чье-то горе — всегда неприятное зрелище. Чье-то горе средни посещения кладбища — о нем лучше не думать, не знать его лучше не видеть.

...Уходя от слепых, я попал на «домашний концерт» в общежитии центра. Слепой мальчик Алеша играл на гитаре, Юля двигала аккордеоном. Толик пел себе что-то под нос про войну, а напротив стояло большое, неизвестно кому адресованное, бесполезное зеркало.

Владлен ЧЕРТИНОВ